

---

---

Олег Будницкий

## «ДНЕВНИК, ПРИЯТЕЛЬ ДОРОГОЙ!» ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК ВЛАДИМИРА ГЕЛЬФАНДА

Писать историю советского общества, опираясь только на официальные документы, даже не предназначенные для публики и хранившиеся «за семью печатями» в архивах, значит вводить читателя в заблуждение. Точнее, опора на тексты и иные материалы, произведенные властью и ее агентами, приводит к искажению исторической перспективы. Власть смотрела и смотрит на историю, как правило, с точки зрения ее «полезности». Она рассматривается как средство воспитания, доказательства исторических прав, в общем, является частью политики. Государственная власть пытается проводить определенную «политику памяти», управлять памятью о тех или иных событиях. Это иногда удается, иногда нет.

Война (а когда мы говорим или пишем «война», не уточняя, какая, в нашей стране все понимают, что речь идет о Второй мировой, именуемой у нас Великой Отечественной) не является исключением. Это часть советской истории, хотя и в памяти людей, и в исторических исследованиях она как будто выпадает из ее общего хода.

Частная память вытесняется «на обочину», делегитимизируется. Казалось бы, войны это касается в наименьшей степени, ведь в советское время было издано огромное количество военных мемуаров. Однако значительная, если не большая, часть воспоминаний была выпущена военачальниками различных рангов, в частности в знаменитой серии «Военные мемуары». Тексты тщательно редактировались и согласовывались, да и писались, как правило, не самими генералами и маршалами, а «литературными неграми» (в большинстве своем не слишком литературно одаренными). Память о войне тщательно унифицировалась.

«Военные мемуары стали чем-то вроде замогильных записок, сочиняемых генералами-шатобрианами, – писал бывший командир пулеметной роты Зиновий Черниловский, – тогда как солдаты – Некрасов или Быков – сосредоточились на художественном видении войны. Где, мол, тот командир роты, который отважится показать эту

величайшую из войн как ее участник. Просто и буднично, то есть не как “человек с ружьем”, а много проще и обыденней, в духе известной французской поговорки: на войне как на войне...»<sup>1</sup>

Ситуация начала меняться в перестроечные годы, а в постсоветской России произошла настоящая «революция памяти». Число текстов о войне стало возрастать в геометрической прогрессии, степень их откровенности – тоже. Вышли сотни мемуарных книг. Энтузиастами военной истории были записаны тысячи рассказов ветеранов. Оказалось, что некоторые рядовые великой войны писали воспоминания о своем военном опыте, не рассчитывая на публикацию. Писали для детей, внуков, «в стол» – для истории. Иногда побудительным мотивом написания текстов была официальная ложь о войне и соучастие в этой лжи «назначенных» ветеранов.

«Ни в одной стране нет таких замечательных ветеранов, как в нашем родном и любимом СССР», – писал Василь Быков. Они «не только не способствуют выявлению правды и справедливости войны, но наоборот – больше всех озабочены ныне, как бы спрятать правду, заменить ее пропагандистским мифологизированием, где они герои и ничего другого. Они вжились в этот надутый образ и не дадут его разрушить»<sup>2</sup>.

Характерно, что письмо Быкова Н. Н. Никулину, автору «Воспоминаний о войне», написанных в середине 1970-х гг., опубликованных в 2008 г., датировано 1996 г. Для Быкова СССР – если говорить об отношении к войне – продолжал существовать. Никулина, начавшего войну под Ленинградом, а закончившего в Германии, побудили написать воспоминания официальные празднества по случаю 30-летия Победы. Его предисловие к рукописи, не предназначавшейся для публикации, датировано 1975 г. «Это лишь попытка, – писал Никулин, – освободиться от прошлого: подобно тому, как в западных странах люди идут к психоаналитику, выкладывают ему свои беспокойства, свои заботы, свои тайны в надежде исцелиться и обрести покой, я обратился к бумаге, чтобы выскрести из закоулков памяти глубоко засевшую там мерзость, муть и свинство, чтобы освободиться от угнетавших меня воспоминаний». В послесловии, написанном в 2007 г., Никулин заметил по поводу своей еще не опубликованной и более чем жесткой рукописи, что был поражен «мягкостью изображения [в ней] военных событий»: «Ужасы войны в ней сглажены, наиболее чудовищные эпизоды просто не упомянуты»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Черниловский З. М. Записки командира роты. М., 2002. С. 83.

<sup>2</sup> Василь Быков – Н. Н. Никулину, 25.03.96 // Никулин Н. Н. Воспоминания о войне. СПб., 2008. С. 236.

<sup>3</sup> Никулин Н. Н. Воспоминания о войне. С. 9, 236.

Конечно, к воспоминаниям, написанным спустя 40, а то и 50 лет после описываемых событий, как и к устной истории (интервью), надо относиться с большой осторожностью. Дело не только в слабости человеческой памяти. Пишут и рассказывают уже другие люди, совсем не такие, какими они были во время войны. Жизненный опыт, окружающая обстановка, прочитанные книги и увиденные фильмы, десятилетия пропаганды – все это не может не отразиться на содержании написанных или наговоренных текстов. Иногда ветераны, сами того не замечая, вставляют в свои рассказы какие-то сюжеты из просмотренных фильмов, иногда полемизируют с прочитанным или увиденным. Не вдаваясь в детали источниковедческого анализа, заметим, что использовать эти «новые мемуары» можно, но верить всему «на слово» не приходится.

Где же взять достоверные сведения о войне (не будем употреблять все высокое слово «правда»), не только о героях и подвигах (чему посвящена львиная доля военной литературы), а о повседневной жизни солдат и офицеров? Ведь на войне не только убивают и умирают. На войне играют в карты, пьют, поют, завидуют, любят, воруют. В общем, живут. При всей огромной литературе о войне об этом – о жизни на войне, в особенности о жизни «рядового Ивана» (или Абрама) – написано менее всего.

Ответ как будто ясен: следует обратиться к источникам личного происхождения времен войны – дневникам и письмам. Здесь-то и начинается проблема. Письма цензуровались, причем об этом было хорошо известно военнослужащим. Следовательно, письма проходили «двойную цензуру» – внутреннюю и внешнюю. Война не самое лучшее время для ведения дневников, к тому же, по распространенному мнению, вести их запрещалось.

Комиссар роты, которой командовал Зиновий Черниловский, увидев у него записную книжку, отобрал ее и бросил в печурку: «Помни, комроты, товарищ Сталин приказал: всех, кто будет вести дневники, – расстреливать». «Не знаю, был ли такой приказ, – писал Черниловский более полувека спустя, – но дневников я больше не вел. Как и все»<sup>4</sup>.

Как оказалось – не все. Да и специального приказа, запрещающего вести дневники, пока что не обнаружено. Очевидно, запрещали вести дневники исходя из общих соображений секретности. Кто-то вел дневник, несмотря ни на какие запреты, кто-то просто не знал о существовании такого запрета, как, к примеру, сержант Борис Комский<sup>5</sup>.

К тому же нет таких приказов, которые бы в СССР – в данном случае, к счастью для историков, – не нарушались. Инженер, рядовой Марк Шумелишский вел записи на отдельных листках, иногда не проставляя даты. Он понимал, что записывать свои впечатления, а в особенности мнения, опасно. «Очень многое из того, что хотелось бы записать и осмыслить потом на конкретных примерах, нельзя <...> все записывать нельзя. Запись, попавшая гадине, может причинить зло». Дело не в том, что Шумелишский опасался доноса. Он боялся, что враг может использовать его критические записи в своих целях. Критика, считал он, для будущего. «Это как бы потенциальная критика»<sup>6</sup>.

С Ириной Дунаевской проводили профилактические беседы сотрудники СМЕРШ, но, не обнаружив в ее записях ничего секретного (номера частей, имена), вести дневник не запретили.

Некоторые авторы дневников вели их еще в довоенное время и не оставили эту привычку и на фронте; для других именно война послужила побудительным мотивом вести записи о величайшем событии в их жизни, в котором им довелось участвовать. Фронтовые дневники, считавшиеся до последнего времени явлением уникальным, могут быть переведены в другую категорию – явления весьма редкого<sup>7</sup>. Особенностью источников этого рода является то, что они редко сдавались в государственные архивы. «Частная память» и хранилась, как правило, частным образом – среди семейных бумаг. Иногда, впрочем, дневники обнаруживаются и в государственных архивохранилищах, в том числе в архивах учреждения, с которым подавляющее большинство советских людей предпочитало дела не иметь. Обнаруживаются в качестве вещественных доказательств по делам<sup>8</sup>.

Почему красноармейцы вели дневники? Большинство «писателей» были не без литературных претензий и, возможно, намерева-

<sup>6</sup> Шумелишский М. Г. Дневник солдата. М., 2000. С. 37.

<sup>7</sup> Иноземцев Н. Н. Фронтовой дневник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Наука, 2005 (1-е изд. 1995); Ковалевский А. А. Нынче у нас передышка... (Фронтовой дневник) / публ. Е. Ковалевской и О. Михайловой // Нева. 1995. № 5; Ермоленко В. И. Военный дневник старшего сержанта. Белгород: Отчий край, 2000; Лядский Т. С. Записки из лёгкого планшета. Военные дневники. Мн.: Асобны дах, 2001; Самойлов Д. Поденные записи. М.: Время, 2002. Т. 1; Тартаковский Б. Г. Из дневников военных лет. М.: АИРО–XX, 2005; Суриц Б. Фронтовой дневник. М.: Центрполиграф, 2010; Комский Б. Г. Дневник 1943–1945 гг. / вступ. статья, публ., прим. О. В. Будницкого // Архив еврейской истории. 2011. Т. 6. С. 11–70; Дунаевская И. От Ленинграда до Кёнигсберга: Дневник военной переводчицы (1942–1945). М.: РОССПЭН, 2010; Фиалковский Л. И. Сталинградский апокалипсис. Танковая бригада в аду. М.: Яуза, Эксмо, 2011 (дневник, хотя это и не оговорено ни автором, ни издательством, носит, на мой взгляд, следы позднейшей литературной обработки).

<sup>8</sup> См., напр.: Фибих Д. Двужильная Россия: Дневники и воспоминания. М.: Изд-во «Первое сентября», 2010.

<sup>4</sup> Черниловский З. М. Записки командира роты. С. 16.

<sup>5</sup> Интервью Б. Г. Комского Леониду Рейнесу 27 июля 2009 г., Львов (Blavatnik Archive, New York).

лись использовать дневники при подготовке будущих книг: выпускник средней школы сержант Борис Комский сочинял стихи и мечтал о литературной карьере. Рядовой Давид Кауфман был студентом московского Института философии, литературы и истории (ИФЛИ), готовился стать профессиональным литератором и уже опубликовал первое стихотворение в «толстом» журнале. Впоследствии Кауфман напишет одно из самых известных стихотворений о войне: «Сороковые, роковые...» Думаю, литературный псевдоним автора этих строк напоминать не надо.

Инженер Марк Шумелишский «снова и снова» задавал себе вопрос: «На кой черт я все время пытаюсь вести какие-то записи?» Все время преследует идея собрать материал и со временем написать хорошую правдивую книгу, которая отобразила бы истинные настроения определенных групп людей в тылу в это великое время. Книгу, конечно, можно будет написать много лет спустя, когда все будет пережито, передумано и оценено. Но сейчас необходимо записывать много мелочей»<sup>9</sup>.

Сержант Павел Элькинсон начал вести дневник по совершенно конкретной причине. 28 августа 1944 г. он записал:

«Наконец долгожданный день полного изгнания немцев с нашей земли на нашем участке фронта настал. Вот он Прут, вот она граница. Всего 6 дней прошло с того времени, как мы наступаем, а как много сделано. Полностью очищена Бессарабия. Заключен мир с Румынией. Завтра перейдем границу. Разве думал я когда-нибудь, что придется побывать за границей. Оказывается, пришлось. Как хочется запомнить все увиденное и коротко записать. Ведь такое в жизни случается всего один раз...»<sup>10</sup>

Элькинсону, служившему разведчиком в артиллерии, довелось изрядно «попутешествовать» по Европе: с августа 1944 по май 1945 г. он побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии.

\* \* \*

Дневник Владимира Гельфанда как будто вписывается в ряд других дневников военного времени. Однако как раз этот текст, в чем-то сходный с некоторыми другими по мотивам, которыми руководствовался при его написании автор («Литературную работу-учебу не прекращаю ни при каких обстоятельствах, это моя жизнь», – записал Гельфанд 6 июня 1942 г.), и по некоторым затрагиваемым сюжетам, из общего ряда выбивается.

Дневник уникален по нескольким обстоятельствам. Во-первых, по хронологическому охвату и объему записей: он начинается с последних предвоенных месяцев 1941 г., завершается возвращением из Германии, где автор служил в оккупационных войсках, осенью 1946 г. Собственно, Владимир Гельфанд и после войны продолжал вести дневник, но вел его уже не столь систематически, да и события, в нем описанные, интересны скорее для истории повседневной жизни советского человека второй половины 1940-х – начала 1980-х гг. Это уже совсем другая история. Оговоримся сразу, что дневники столь же широкого временного охвата все же встречаются, хотя и нечасто. Назову дневники Николая Иноземцева и Бориса Суриса<sup>11</sup>, из неопубликованных – дневник Василия Цымбала<sup>12</sup>. Однако Николай Иноземцев служил в артиллерии большой мощности, которую задействовали преимущественно при наступательных операциях, и располагавшейся достаточно далеко от передовой. Вследствие чего автор большую часть войны провел в тылу, в ожидании наступления. Борис Сурис был военным переводчиком при штабе дивизии и по роду службы бывал на передовой нечасто. Гельфанд же – и это вторая черта, позволяющая считать его дневник уникальным – был минометчиком, в период боевых действий находился практически на самом «передке»; впереди была только пехота. Служба в артиллерии большой мощности предполагала наличие определенного образовательного уровня, не говоря уже о штабной работе; поэтому окружение Гельфанда существенно отличается от окружения Иноземцева или Суриса. Это самый что ни на есть «простой народ»; среди сослуживцев Гельфанда немало весьма малограмотных, а то и просто неграмотных, за которых он иногда пишет письма. В-третьих, и это, возможно, самое важное: дневник беспрецедентен по откровенности. При чтении дневников нередко можно заметить некий внутренний ограничитель: их авторы как бы предполагают постороннего читателя, иногда сознательно пишут с учетом этого «внешнего» читателя. Случай Гельфанда принципиально иной: временами текст дневника тяжело читать: автор описывает собственные унижения, иногда – неблагоприятные поступки. С не имеющей аналогов откровенностью он пишет о своих сексуальных проблемах и «победах», вплоть до физиологических подробностей.

Уникален дневник и еще в одном отношении: это, пожалуй, единственный известный в настоящий момент текст, подробно описы-

<sup>11</sup> См. прим. 7.

<sup>12</sup> Подробный дневник В. Цымбала состоит из 12 убористо исписанных блокнотов и охватывает период 1942–1945 гг. Предоставлен нам сыном В. Цымбала – кинорежиссером Евгением Цымбалом.

<sup>9</sup> Шумелишский М. Г. Дневник солдата. С. 19. Запись сделана в марте 1942 г.

<sup>10</sup> Элькинсон П. Дневник (копия находится в Blavatnik Archive, New York).

вающий «труды и дни» офицера Красной армии в оккупированной Германии в 1945–1946 гг., его взаимоотношения с немцами (в особенности – с немками), описывающий без каких-либо умолчаний и оглядок.

Автор дневника, несомненно, относится к категории графоманов. Не писать он не может, пишет постоянно, при любых условиях. Пишет письма родным и подругам (в основном школьным; впрочем, если он где-то случайно познакомился с девушкой, то и она попадает в список его корреспондентов), пишет стихи, статьи в газеты (настоящие и стенные). Пишет письма для сослуживцев, которые не в ладах с грамотой или же хотят, чтобы им написали «красиво»:

«Несколько дней подряд пишу письма другим лицам. Вот Петру Соколову, нашему командиру роты, написал два письма для его девушки Нины. Потом Калинин попросил ответить его дочурке маленькой, которая просит прислать статью в местную стенгазету, а он не знает, как лучше ответить, чтобы не обидеть ее чувств. Раньше Рудневой девчурке написал. Глянцева жене – два письма, Чипаку – письмо домой и т. д.» (15.01.1944).

Но главное – Гельфанд ведет дневник, который называет своим «другом» (07.11.1941). Год с лишним спустя он пишет, обращаясь к дневнику:

«Дневник, приятель дорогой! А я сегодня пил чай из кореньев! Сладкий, как с сахаром! Жалко, тебе не оставил! Но не беда – тебе достаточно понюхать запах корней – вот они, в руках у меня, чтобы ты убедился в правдивости слов моих. А зачем тебе иные сладости кроме моих, ведь ты переживаешь все наравне со мной – и радости, и горести те же» (03.09.1942).

Пожалуй, дневник был на самом деле единственным другом рядового, сержанта, затем лейтенанта Гельфанда. Ибо с людьми он сходилась крайне трудно и за годы войны друзей не обрел. Иногда из графоманов вырабатываются писатели – о чем мечтал и на что надеялся Владимир Гельфанд. В подавляющем большинстве – нет. Гельфанд принадлежал к этому подавляющему большинству. Однако книга, им написанная, хотя и не полностью, все же вышла в свет. Это случилось, увы, после смерти автора (об этом подробнее поговорим ниже). Этой книгой стал дневник, который, вероятно, рассматривался Гельфандом разве что в качестве литературной «заготовки».

Прежде чем поговорить о содержании дневника, несколько слов о его авторе. Владимир Натанович Гельфанд родился 1 марта 1923 г. в поселке Ново-Архангельск Кировоградской области в семье рабочего-стекольщика. Отец – Натан Соломонович Гельфанд (1896 г. р.) – в разные годы работал бригадиром на цементном заводе, завхозом средней школы, кладовщиком слесарно-производственной

артели в Днепродзержинске и Днепропетровске. Мать – Надежда Владимировна Городинская (1902 г. р.), до революции давала частные уроки русского языка в семьях богатых односельчан в с. Покотилово. Во время Гражданской войны служила некоторое время в Красной армии, где вступила в партию большевиков. По ее рассказам, благодаря этому обстоятельству, а также умению печатать на машинке ее взяли на работу машинисткой в Кремль. Однако впоследствии она вернулась на Украину, вышла замуж, родила сына; общественной деятельностью, судя по всему, не занималась и была исключена из партии «за пассивность». Работала воспитателем в детском доме, в различных детских садах, затем вплоть до начала войны – секретарем отдела кадров завода им. В. И. Ленина в Днепропетровске. В поисках лучшей доли семья сменила несколько мест жительства, пока не обосновалась в 1933 г. в Днепропетровске, который Владимир Гельфанд считал своим родным городом. Родители Владимира развелись за три года до начала войны. Во время войны Натан Гельфанд был призван в Красную армию, но вскоре по состоянию здоровья направлен на «трудовой фронт», после чего – в г. Шахты на угольные рудники, где работал вахтером. Мать Владимира Гельфанда эвакуировалась в Среднюю Азию, работала в колхозе.

Владимир Гельфанд окончил 8 классов средней школы и 3-й курс Днепропетровского индустриального рабфака, то есть приблизительно 9 классов. В начале войны вместе с комсомольской организацией рабфака выехал в Апостоловский район Днепропетровской области на уборку урожая. 18 августа 1941 г., как вскоре выяснилось, за неделю до захвата города немцами, эвакуировался из Днепропетровска в Ессентуки. В Ессентуках комсомольской организацией был направлен в ремонтно-восстановительную колонну связи и проработал там в качестве линейного рабочего вплоть до самого своего призыва в армию.

В армию Гельфанда призвали 6 мая 1942 г. После трехнедельной подготовки, получив специальность минометчика, он был направлен в действующую армию. В армии попал в 52-й укрепрайон в 427-й отдельный артиллерийско-пулеметный батальон, как раз в период отступления после Харьковской катастрофы. Гельфанду было присвоено звание сержанта, и он был назначен командиром минометного расчета. Первые полтора месяца на фронте вобрали многое: часть, в которой служил Гельфанд, попала в окружение и была разбита. С остатками части он вышел из окружения в районе Сталинграда; после недолгого пребывания на пересыльном пункте был направлен в 15-ю гвардейскую стрелковую дивизию в 50-й гвардейский стрелковый полк, где служил командиром минометного расчета, а также исполнял обязанности замполита и заместителя командира роты по политической части.

13 декабря 1942 г. был ранен в палец и попал в госпиталь легкораненых № 4519, где находился на излечении с декабря 1942 по март 1943 г. На первый взгляд не слишком страшная рана могла привести к весьма серьезным последствиям: ранение вызвало панариций – острое гнойное воспаление, чреватое гангреней. Согласно современной медицинской литературе, лечение больного панарицием должен проводить высококвалифицированный врач-хирург в условиях хирургического отделения. Учитывая, что антибиотиков в то время в медицинских учреждениях Красной армии не было, процесс излечения проходил медленно и мучительно. После выписки из госпиталя 28 февраля 1943 г. Гельфанд был направлен на пересыльный пункт, а оттуда в 197-й запасной стрелковый полк, откуда, в свою очередь, 30 апреля 1943 г. – на армейские курсы младших лейтенантов 28-й армии.

По окончании курсов, 28 августа 1943 г. Гельфанд, теперь уже младший лейтенант, был направлен в армейский резерв в Крюково. 7 сентября он попал в 248-ю дивизию, на следующий день был определен в резерв 899-го стрелкового полка. 23 сентября из резерва полка Гельфанд был переведен во 2-й батальон, 1 октября – назначен на должность командира минометного взвода 3-й минометной роты 3-го батальона. 27 января 1944 г. Гельфанду было присвоено звание лейтенанта. В конце 1944 г. он был направлен в 301-ю стрелковую дивизию на 1-й Белорусский фронт; служил в той же должности командира минометного взвода; с конца марта 1945 г. – при штабе дивизии, вел журнал боевых действий.

Принимал участие в боях за освобождение Украины, затем в боевых действиях на территории Польши и Германии. После окончания войны служил на различных должностях в оккупированной Германии, в Берлине и его окрестностях. Большую часть времени – в должности помощника начальника транспортного отдела во 2-й танковой армии. Демобилизовался в сентябре 1946 г. Был награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» (медаль «За оборону Сталинграда» «догнала» его в 1966 г.)<sup>13</sup>.

И все это время Владимир Гельфанд вел дневник. Дневник писался постоянно, невзирая на время и обстоятельства. К примеру, под обстрелом или бомбежкой. 22 июня 1942 г. Гельфанд записывает:

«Сегодня год войны между нашей страной и немецко-фашистскими гадами. Эта знаменательная дата совпала сегодня с первым ожесточенным налетом (за мое здесь пребывание) на эти места.

Пишу в землянке-окопе. Налеты продолжаются и сейчас. Хаустов, мой боец, окончательно растерялся и даже от испуга заболел. У него

была рвота. Руки у него трясутся, и лицо перекошено. Он сначала пытался скрыть свою боязнь перед бомбежками врагов, но теперь уже не скрывает, открыто признается мне, что нервы у него не выдерживают. Так ведет себя вчерашний герой, который минувшей ночью матюгался на меня и говорил, что я «сирун» и при первом же бое наделаю в штаны, а его оставлю самого погибать» (22.06.1942).

«Снаряды неистовствуют – ранило Гореленко, Иващенко, минометчиков Соловьева, старшину и других. Землянка никудышная. Холодно. Условия безобразные. Грустно. Но не писать не могу, хотя темно и пишу ощупью. Руднев, Засыпко со мной. А снаряды ложатся по бокам, и я мысленно прошу рваться их подальше» (04.02.1944).

Дневник сержант, затем лейтенант Владимир Гельфанд вел совершенно открыто и читал иногда фрагменты из него своим товарищам. Его непосредственный начальник даже советовал ему использовать простой карандаш для записей, нежели химический – для лучшей сохранности (запись от 28.06.1942). В другой раз Гельфанд получил инструкции от политрука:

«Политрук рассказал мне, как вести дневник. После того случая, когда он обнаружил случайно увиденные в дневнике разные глупости, я пишу теперь так, как подсказал мне политрук. Он говорит, что в дневнике надо писать только о работе роты, о ходе боев, об умелом руководстве ротной команды, о беседах с воинами, проводимых политруком, о выступлениях по поводу его бесед красноармейцев и т. д. Так именно я и буду писать впредь» (10.09.1942).

Через два дня в дневнике появляется еще более удивительная запись:

«Ночью спал у меня политрук. Сегодня днем тоже. Я теперь выбрался на площадку для миномета из своего окопа. Это, пожалуй, даже удобней для меня. Я в восторге! Ведь если бы не политрук, кто бы руководил моими действиями?» (12.09.1942).

Можно было бы подумать, что у Гельфанда что-то случилось с головой, однако причину резкого изменения содержания и тональности дневника проясняет запись, сделанная им две недели спустя:

«Впервые здесь я открыто записал, ибо избавился от политрука, когда-то указавшего мне, как писать дневник и что писать в нем!» (27.09.1942).

Надо ли говорить, что Гельфанд вновь стал записывать «глупости» (иногда – без кавычек), которые и составляют на самом деле главную ценность этого обширного текста.

Дневник – это своеобразный «роман воспитания». Начинает его вести почти подросток, юноша практически с детской психологией и представлениями о мире. И о войне. Одна из первых записей военного времени: «Война изменила все мои планы относительно про-

<sup>13</sup> Автобиографии В. Н. Гельфанда от 05.11.1943, 28.08.1948 и 26.11.1952 (личный архив В. В. Гельфанда, Берлин).

ведения летних каникул» (02.07.1941). Всего-то! Поступив рабочим на службу, которая давала освобождение от мобилизации в армию, Гельфанд досадует: «Испугался слез матери, поддался ее просьбам и решил уйти от воинской службы. Что броня? Не лучше ли веселая окопная жизнь на благо Родине моей? Жаркая воинская служба, сопряженная с опасностью, наполненная кровавыми боевыми эпизодами» (07.11.1941). Ему еще предстояло узнать, что такое «веселая окопная жизнь».

Войну заканчивает в чем-то совершенно другой, в чем-то тот же человек: он гораздо более опытен, понаторел в практических вопросах, преодолел робость перед женщинами и более чем преуспел на ниве «сердечных побед» в Германии (для последнего, впрочем, достаточно было располагать некоторым количеством еды). В то же время он так же одинок, столь же трудно сходится с людьми, умудряется нередко попадать впросак «на ровном месте». И так же мечтает стать писателем, хотя в этом отношении его все в большей степени начинают одолевать сомнения.

Гельфанд принадлежал к поколению людей, родившихся и выросших при советской власти, искренне ей преданных и всерьез воспринимавших партийно-советскую риторику. Не просто воспринимавших – мысливших и говоривших стереотипами и словами, почерпнутыми из газетных передовиц и речей партийных лидеров:

«Собираюсь подать заявление в партию. Хочу идти в бой коммунистом. Буду проводить политическую работу, с которой до некоторой степени знаком и которая мне близка. В бою даю себе клятву быть передовым и добиться звания лейтенанта, которого мне волей случая не довелось получить в училище. Многого еще мне незнакомо, многое непонятно, но буду учиться, чтобы больше знать. Литературную работу-учебу не прекращу ни при каких обстоятельствах, ибо это мой хлеб, моя пища, жизнь моя дорогая.

Я не умирать еду, а жить и одерживать победу, бить врагов Родины своей! Буду бить их из миномета, из винтовки, а также литературой и политикой – таковы мои мысли и чаяния в данный момент. О смерти не думаю, ибо верю в судьбу свою, которая да сбережет меня от вражеских пуль. Опираясь на эту веру, буду бесстрашен в бою, буду в первых рядах защитников Родины» (06.06.1942).

«Мне необходимо выдвинуться. Мой лозунг – отвага или смерть. Смерть, нежели плен. Жизнь за мной должна быть сохранена судьбой. Она обо мне заботится, мое дело завоевать себе бессмертие.

Я теряю сознание от пореза пальца, при появлении сколько-нибудь значительной струйки крови. Мертвых вид всегда мне неприятен. В драках я всегда был побеждаем. И теперь я мечтаю о подвиге – жду и даже, больше того – стремлюсь к нему!.. Я, который...

До сих пор меня не страшили ни разрывы снарядов, ни бомбежки – может быть, потому, что это было далеко в стороне от меня, не знаю. Но думаю, надеюсь не подкачать, выдвинуться, отличиться, стать комиссаром и вести военную корреспонденцию с фронта в газеты. Я добьюсь своего, пусть даже ценой жизни, иначе я не человек, а трус и хвостун. Клянусь же тебе, мой дневник, не быть сереньким, заурядным воином, не выделяющимся из общей массы красноармейцев, а быть знаменитым, прославленным или хотя бы известным героем Отеч[ественной] войны» (28.06.1942).

Разительное отличие жизненных реалий, с которыми с первых же дней в действующей армии сталкивается Гельфанд: трусость командиров, способных бросить своих подчиненных в трудный момент, мародерство, воровство, антисемитизм, явное недовольство некоторой части сельских обитателей советской властью, – мало влияют на его отношение к этой власти и ее лидерам. Так же как на восприятие слов, ими использовавшихся. Гельфанд как само собой разумеющееся воспринимает противоречие между жизнью и словами, которыми эта жизнь описывается на страницах газет. Точнее, он не считает это противоречием, не видит его, для него это норма, само собой разумеющиеся «правила игры». Ему присуще двойное сознание, свойственное людям сталинской эпохи, да и советской эпохи в целом. Текст дневника и тексты статей, которые он пишет для армейской печати, являются наглядным образцом использования разного языка для описания одних и тех же событий. Гельфанд знает, что можно, а что нельзя писать «для всех», считает это нормой и не задумывается над этим противоречием.

Пожалуй, только раз, в дни панического отступления к Сталинграду после Харьковской катастрофы, он пишет о несоответствии жизни и ее отражении на страницах газет:

«Хутор Беленский. Так называется это селение. Сегодня мы уже здесь второй день. Войска все идут и идут. Одиночки, мелкие группы и крупные подразделения. Все имеют изнуренный и измученный вид. Многие попереодевались в штатское, большинство побросало оружие, некоторые командиры посрывали с себя знаки отличия. Какой позор! Какое неожиданное и печальное несоответствие с газетными данными. Горе мне – бойцу, командиру, комсомольцу, патриоту своей страны. Сердце сжимается от стыда и бессилия помочь ликвидации этого постыдного бегства. С каждым днем я все более убеждаюсь, что мы сильны, что мы победим неизменно, но с огорчением вынужден сознаться себе, что мы неорганизованны, что у нас нет должной дисциплины и что от этого война затягивается, поэтому мы временно терпим неудачи.

Высшее командование разбежалось на машинах, предало массы красноармейские, несмотря на удаленность отсюда фронта. Дело до-

шло до того, что немецкие самолеты позволяют себе летать над самой землей, как у себя дома, не давая нам головы вольно поднять на всем пути отхода.

Все переправы и мосты разрушены, имущество и скот, разбитые и изуродованные, валяются на дороге. Кругом процветает мародерство, властвует трусость. Военная присяга и приказ Сталина попираются на каждом шагу» (20.07.1942).

Не удивительно, что Гельфанд с восторгом встречает приказ Сталина № 227 от 28 июля 1942 года («Ни шагу назад!»). Он записывает в начале августа 1942 г.:

«Мне вспоминаются мысли мои во время странствования утомительного и позорного армий наших. О, если б знал т. Сталин обо всем этом! Он бы принял меры – думал я. Мне казалось, что он не осведомлен обо всем, что творится, или же неправильно информирован командованием отходящих армий. Какова же моя радость теперь, когда я услышал приказ вождя нашего. Сталин все знает. Он как бы присутствовал рядом с бойцами, мысли мои сходны с его гениальными мыслями. Как отрадно сознавать это» (02.08.1942).

Сталин – его кумир. «Безумно люблю, когда товарищ Сталин выступает. Все события в ходе войны становятся настолько ясными и обоснованными логически», – записывает он в начале ноября 1943 г. Три года спустя Гельфанд остается столь же восторженным поклонником вождя:

«Еще раз перечитываю речь т. Сталина накануне выборов кандидатов в депутаты Верховного Совета и поражаюсь, в который раз, ясности ума и простоте изложения сталинской мысли. Еще не было ни одного высказывания т. Сталина, в котором не вырисовывалась бы мудрость, правда и убедительность преподносимых слушателям фактов и цифр. Вот и на сей раз. Кто смеет оспорить или выразить сомнение в правдивости гениального рассказа вождя нашей партии и нашего народа о причинах и условиях нашей победы, о корнях возникновения империалистических войн, о существенном отличии только что минувшей войны от всех других, предшествовавших ей прежде, ввиду участия в ней Советского Союза» (14.02.1946).

В этой речи Сталин, среди прочего, говорил о том, что коллективизация «помогла развитию сельского хозяйства, позволила покончить с вековой отсталостью».

«Ваше дело – судить, насколько правильно работала и работает партия (аплодисменты), и могла ли она работать лучше (смех, аплодисменты)», – конспектирует Гельфанд, – «обращается под конец к избирателям т. Сталин. И все награждают его такими горячими аплодисментами и любовью, что просто трогательно становится со стороны. Да, он заслужил ее, мой Сталин, бессмертный и простой, скромный и великий, мой вождь, мой учитель, моя слава, гений, солнце мое большое» (14.02.1946).

Ни собственный опыт общения с крестьянами, ни личное знакомство с результатами коллективизации не заронили и тени сомнения в верности слов вождя. Впрочем, Гельфанд по малолетству не мог сопоставить советскую деревню до и после коллективизации. Однако же невольное знакомство с уровнем развития сельского хозяйства Германии, да и в целом с уровнем жизни побежденных также не навели его на какие-либо размышления.

А. Я. Вышинский, прокурор на показательных процессах эпохи «большого террора», переквалифицировавшийся в дипломаты, вызывал у Гельфанда восторг:

«Вышинский умница. Читал все его выступления на Международной ассамблее и не мог не проникнуться к нему неумемной симпатией. Понятен его успех и прежде, и сейчас. Не помню Литвинова, но Вышинский теперь мне кажется сильнее как дипломат и умнее как теоретик.

Какой он родной, какой он красивый, какой он, черт возьми, правильный человек! Нет, он похлеще Литвинова!» (21.02.1946)

Тем же числом, что и запись в дневнике, датируется письмо Гельфанда к матери, в котором он пишет о Вышинском:

«Вышинского за его ум и смелость люблю, как родного, и даже крепче, ведь только подумай, что он там делает, в Генеральной Ассамблее, как он виртуозно сильно ворочает умами – какими умами! – и доводы его остаются неоспоримыми! Нет, он похлеще Литвинова!» (Письмо Вл. Гельфанда матери от 21 февраля 1946 г.)

В общем, Владимир Гельфанд и начал, и закончил войну абсолютно советским человеком. Он вступил в партию на фронте по убеждению, хотел быть политработником, выпускал в училище стенную газету, причем сам писал в ней все статьи, подписываясь именами разных курсантов. Искренне пытался донести до своих товарищей по службе информацию из газет и партийные установки, вызывая разве что их раздражение своей настойчивостью.

Красная армия в дневниковых записях Гельфанда нередко предстает плохо организованной и дисциплинированной; случаи мародерства совсем не редки на своей территории; в Германии оно становится тотальным, причем автор дневника принимает в поисках «трофеев» самое активное участие. Отнюдь не однозначно и отношение советского населения к красноармейцам: иногда их принимают радушно и делятся последним, иногда – прохладно, а то и вовсе враждебно. Собственно, к «советскому» населению можно во многих случаях отнести лишь по формальному признаку проживания на территории СССР; отнюдь не все считают советскую власть своей. Люди погружены в свои собственные заботы, они выживают, и не слишком заметно, что их волнует судьба страны.

1 апреля 1943 г. Гельфанд записывает в Зернограде:

«Жители – все рабочие совхозов. В их рассказах уже не услышишь “русские”, [слово нрзб] по отношению к советским и фашистско-немецким войскам, как повсеместно я слышал от жителей всех предыдущих городов и деревень, начиная с Котельниково и кончая Мечеткой, а “наши”, “немцы”. В этих выражениях не видно резкого отделения себя, тоже русских, от своего народа, общества, армии».

Регион между Котельниково и станицей Мечетинской был не единственным, где жители как бы отделяли себя от советской власти и Красной армии. Человек совершенно другого сорта, нежели Гельфанд, капитан (будущий генерал) Илларион Толконюк, выбираясь в октябре 1941 г. из вяземского «котла», был неприятно удивлен тем, что крестьяне «бойцов Красной Армии... называли “ваши”, а немцев – “они»». Да и вообще сельское население Смоленщины и Подмосковья оказалось неприветливым и совсем не напоминало «гостеприимных советских людей»<sup>14</sup>.

Гельфанда многое возмущает, но жизнь научила наивного идеалиста во многих случаях скрывать свои мысли и чувства. Правда, удается это ему не всегда, и если не удается, то почти с гарантией приводит к неприятностям.

Одной из сквозных тем дневника является антисемитизм, с проявлениями которого и в обществе, и в армии постоянно сталкивается и от которого страдает Гельфанд. Точнее было бы говорить не о проявлениях антисемитизма, а о его массовом характере. Гельфанд записывает 23 октября 1941 г. в Эссентуках, куда он эвакуировался из Днепропетровска:

«По улицам и в парке, в хлебной лавке и в очереди за керосином – всюду слышится шепот, тихий, ужасный, веселый, но ненавистный. Говорят о евреях. Говорят пока еще робко, оглядываясь по сторонам. Евреи – воры. Одна еврейка украла то-то и то-то. Евреи имеют деньги. У одной оказалось 50 тысяч, но она жаловалась на судьбу и говорила, что она гола и боса. У одного еврея еще больше денег, но он считает себя несчастным. Евреи не любят работать. Евреи не хотят служить в Красной армии. Евреи живут без прописки. Евреи сели им на голову. Словом, евреи – причина всех бедствий. Все это мне не раз приходится слышать – внешность и речь не выдают во мне еврея».

Записи Гельфанда – так же как дневники и воспоминания других современников, евреев и неевреев – свидетельствуют, что антисемитизм в стране интернационалистов отнюдь не был изжит. Советская власть упорно боролась с антисемитизмом, особенно в конце 1920-х – начале 1930-х гг. В годы войны об этом нечего было и думать: в от-

крытую бороться с антисемитизмом означало бы, по сути, подтвердить один из основных тезисов нацистской пропаганды о советской власти как власти еврейской. Власть в условиях достаточно широкого распространения антисемитских настроений вряд ли могла это себе позволить. Даже если бы хотела<sup>15</sup>.

Уже будучи в армии, в июне 1942 г. Гельфанд нашел две немецкие листовки, призывающие красноармейцев сдаваться:

«Какие глупые и безграмотные авторы работали над их составлением! Какие недалекие мысли выражены в этих “листовках”, с позволения сказать. Просто не верится, что эти листовки составлялись с целью пропаганды перехода наших людей на сторону немецких прохвостов. Кто поверит их неубедительным доводам и доверится им? Единственный правильно вставленный аргумент – это вопрос о евреях. Антисемитизм здесь сильно развит, и слова, что “мы боремся только против жидов, севших на вашу шею и являющихся виновниками войны”, могут подействовать кой на кого» (12.06.1942).

Гельфанд, в тех случаях, когда оказывается среди не знающих его людей, проявляя то ли малодушие, то ли здравый смысл, скрывает свое еврейство. Однажды, к примеру, он представляется «русско-грузином»: «Отец, дескать, русский, мать – грузинка» (28.07.1942). Совсем туго пришлось Гельфанду в госпитале, в котором раненые содержались в ужасных условиях: завтрак подавали в шесть или семь часов вечера, «зато» обед в пять часов утра; до ужина дело не доходило. Качество еды (вода с манкой, ложка картошки, 600 грамм хлеба в день и т. п.) состязалось с ее регулярностью:

«Много других ужасающих неполадков существует у нас, но люди (не все, правда) во всем обвиняют евреев, открыто называют всех нас жидами. Мне больше всех достается, хотя я, безусловно, ни в чем тут не виноват. На мне вымещают они свою злобу и обидно кричат мне “жид”, ругаются и никогда не дают мне слова вымолвить или сделать кому-либо замечание, когда они сорят и гадят у меня на постели» (29.12.1942).

«Зачем я еврей? – записывает однажды в отчаянии Гельфанд. – Зачем вообще существуют нации на свете? Принадлежность к еврейской нации является неизменным моим бичом, постоянным муче-

<sup>15</sup> О «еврейском синдроме» советской пропаганды см.: *Костырченко Г. В.* Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм. М.: Международные отношения, 2001. С. 222–229; об антисемитизме в СССР в годы войны, в том числе в армии см.: *Budnitskii O.* Jews at War: Diaries from the Front // *Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering* / ed. by Harriet Murav and Gennady Estraiikh. Boston: Academic Studies Press, 2014. P. 76–79; idem. *The Great Patriotic War and Soviet Society: Defeatism, 1941–42* // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2014. Vol. 15. No. 4. P. 782–783.

<sup>14</sup> Цит. по: *Смирнов А.* Наступление ради наступления. О записках генерала Иллариона Толконюка // *Родина*. 2008. № 5. С. 31.



нием, от которого нельзя сыскать спасения. За что не любят евреев? Почему мне, как и многим другим, приходится иногда скрывать свое происхождение?» (09.04.1943)

Весной 1943 г. Гельфанд постоянно слышит рассказы жителей освобождаемых районов об уничтожении нацистами евреев. Он тревожится о судьбе родственников, не успевших выехать из Эссентуков и оказавшихся в оккупации. Тревога оказалась не напрасной: все его родственники в Эссентуках были убиты нацистами.

«Насчет немцев я навсегда решил, – записывает он в дневнике, – нет врагов для меня злее немцев и смертельнее их. До гроба, до последнего дыхания в тылу и на фронте я буду служить своей Родине, своему правительству, обеспечившему мне равноправие как еврею. Никогда я не уподоблюсь тем украинцам, которые изменили Родине, перейдя в стан врага и находясь теперь у него в услужении. Чистят сапоги, служат им, а те их лупят по иудиным собачьим харям» (13.03.1943).

Говорят, что характер – это судьба. Несомненно, что на формирование характера подростка, а мы застаем автора как раз в момент перехода от подросткового к юношескому возрасту, оказала воздействие его деспотичная и не терпевшая возражений мать. Надежда Городынская, судя по записям Владимира Гельфанда, была вполне любящей матерью, однако не останавливавшейся перед самыми жесткими мерами «воспитания» своего единственного сына. Вроде битья его головой о стену.

Родители Владимира Гельфанда развелись за три года до начала войны, когда он находился в весьма раннем подростковом возрасте. Он их пытался как-то примирить, надеялся, что родители, может быть, сойдутся вновь: об этом он время от времени упоминает в письмах военного времени.

Гельфанд расстался с матерью в сентябре 1941 г. во время эвакуации из Днепропетровска, потеряв ее во время бомбежки<sup>16</sup>. Через два месяца мать приехала в Эссентуки, где у родственников жил Владимир. Приехала неожиданно, и всего на один день. Подходя к квартире тети, Гельфанд «улыскал чей-то знакомый, родной и привычный голос. Кто бы это мог быть? – мелькнула у меня догадка. Неужели “она”? ...Я прижал ее, бедную маму, к своему сердцу и долго утешал, пока она не перестала плакать. Это были слезы радости, слезы горя, слезы тоски о прошлом и отчаяния перед будущим. Но вот миновали первые минуты этой незабвенной встречи с мамой, и наш разговор [принял] обыденную форму. К маме вновь вернулось прежнее состояние, в котором она пребывала до моего появления...» (31.10.1941)

<sup>16</sup> См. его письмо матери от 2 марта 1942 г.: «... мы растерялись при бомбежке нашего эшелона...» (архив В. В. Гельфанда, Берлин).

Далее последовал разговор, полный упреков (возможно, в чем-то справедливых), но попытки сына объясниться привели лишь к тому, что лицо матери «искажилось, приняло зверское выражение. Передо мной была та, прежняя, мать, прежние картины и картинки нашей совместной жизни. И меня бросило в жар при воспоминании об этом. Лицо матери стало чужим и неприятным, каким оно было в минуты наших ссор, когда ею пускались в ход и против меня и стулья, и кочегра, и молоток и все, что попадалось под руки» (31.10.1941).

В семейных ссорах редко бывает «правая» сторона, однако дело не в этом; несомненно, методы воспитания, применявшиеся матерью Владимира, были весьма своеобразными и вряд ли способствовали тому, чтобы ребенок вырос уверенным в себе. Полученные в детстве психологические травмы, по-видимому, так и не были изжиты Владимиром. Почти пять лет спустя после описанной выше тяжелой сцены в Эссентуках, уже после окончания войны, Гельфанд записывает:

«Мама нервная и тяжелая. Редко она могла приласкать меня так, как я любил прежде того, но почти всегда ругалась и была холодна. Сердцем я чувствовал, что она меня любит горячо и нежно, но умом такая любовь не укладывалась с ее таким отношением ко мне. В детстве я тоже балован не был душевной настоящей теплотой, но тогда я не встречал еще холодности жестокой со стороны матери, любовные чувства довели над остальными, и потому скоро забывались и дикие побои (иногда головой о стенку), и злобные упреки, и бойкот всеми способами» (01.07.1946).

Как бы то ни было, но Владимир Гельфанд не отличался силой характера. Что очень быстро распознавали его сослуживцы и, как и в любом закрытом мужском сообществе, где слабейший нередко становится объектом насмешек и издевательств, «жертвой», это почти всегда случалось и с ним. Бойцы его не слушались, и тогда, когда он, будучи рядовым, назначался старшим, и тогда, когда он, став лейтенантом, командовал ими уже на законных основаниях. Отчасти это объяснялось его юным возрастом и неопытностью: менее грамотные, но старшие по возрасту и пониманию жизни бойцы не желали ему подчиняться, отчасти «странностью» поведения: непрерывно что-то пишущий командир, очевидно, казался им чудачком. Если к этому прибавить идеализм Гельфанда и его борьбу за торжество справедливости, выражавшееся, среди прочего, в писании рапортов начальству, то не удивительно, что он часто оказывался в роли изгоя.

Бойцы, чувствуя слабость, этим пользовались. Так, Гельфанд описывает эпизод, когда сержант-связист из соседней части просто выгнал его из открытого им же окопа. Сержант мотивировал это, среди прочего, тем, что Гельфанд хоть и командир, но из другой части, и он

не обязан ему подчиняться (11.10.1943). Нашлось бы немало офицеров, которые просто пристрелили бы сержанта на месте (и вряд ли бы понесли за это какое-либо наказание), автор же дневника предпочел уйти. Наверняка сержант (как и другие бойцы, позволявшие себе выходить за рамки устава по отношению к командиру) чувствовал, что получить пулю ему не грозит<sup>17</sup>.

Гельфанд вполне сознавал свои характерологические особенности. Однажды он записал рассказ сослуживца о том, что его семь раз исключали из школы. И прокомментировал:

«Как я теперь жалею, что только раз, да и то на несколько дней, меня исключили из школы. Лучше бы я был в детстве и юности босяком и хулиганом, нежели таким нерешительным в любви и жизни человеком, как теперь» (17.07.1944).

Правдоискательство Гельфанда, его стремление привести жизнь в соответствие с газетными статьями и партийными установками отнюдь не способствуют хорошему к нему отношению. И он это вполне сознает:

«Парторг полка дал мне анкету для вступления в партию. Мне остается написать заявление и автобиографию (анкету я заполнил, а остальное не мое дело). Я кандидат уже около 10 месяцев. Пора переходить в члены. Я хочу поспешить, пока меня еще не знают здесь, а то позже разругаюсь или поспорю с кем-либо из начальства, и партии не видать мне тогда, как ушей своих без зеркала» (11.10.1943).

Незадолго до конца войны он констатирует:

«Да, судьба не обидела меня, наделив внешностью и умом. Но характер мой портит впечатления первого взгляда и отвращает от меня окружающих. Вот почему мне так нелегко живется на свете, вот почему я нередко бываю обижен своими товарищами зря и несправедливо» (22.03.1945).

Похоже, что Гельфанд чувствовал себя относительно комфортно (в моральном отношении), если оказывался в силу обстоятельств в одиночестве, скажем, по пути из госпиталя в часть. Или же на передовой, особенно в период боевых действий. Последнее утверждение кажется по меньшей мере странным, но именно к такому выводу приходишь, читая его записи о боях, нередко сделанные под обстрелом или во время недолгих перерывов в сражениях. Вот одна из таких записей:

«Вчера весь день стрелял. Выпустил мин 700, чтоб не соврать. Сколько постреляли “огурцов”, как их по телефону именуют здесь, никто нас не спрашивал, но сколько осталось мин – спрашивали ежеминутно...

На меня же пала и хозяйственная (подвоз мин, водки, продуктов), и боевая (подготовка мин, протирка их, чистка минометов, отрывка щелей, расстановка людей и порядок на батарее, и сам процесс стрельбы), и политическая (раздача и читка газет) работа. Я с удовольствием командовал во весь голос (ветер относил мои команды, и надо было громко кричать), ощущая на себе взгляды проходящих мимо нас бойцов и начальников, восхищавшихся одновременностью выстрелов и красотой стрельбы» (11.10.1943).

Гельфанд, похоже, был лишен страха смерти и был уверен, что с ним ничего не случится.

«Немец забил из Ванюши (германский реактивный миномет. – О. Б.). Вот оно! Задрожала земля. Кругом разрывы, но сюда еще не попадает. Да и ну его! Что суждено, то и будет! Не стану же я из-за этого бросать пера, что немцу жить тошно стало и он нервничает, стреляет, совершая то здесь, то там огневые налеты на нас» (18 или 19 ноября 1943).

Смерть нередкой была совсем рядом, но это если и вызывало в нем эмоции, то скорее удивление, чем ужас. Вот один из таких случаев, происшедший, видимо, 18 октября 1943 г. Сам Гельфанд, потерявший в ходе непрерывных боев счет дням, обозначает его как «n число»:

«Когда я лег в окоп отдохнуть – начали рваться снаряды. Я взял в окоп с собой кочан от капусты и принялся его чистить. Вдруг разорвался снаряд. Так близко, что оглушил меня. Окоп завалило, меня присыпало землей и, наконец, что-то больно стукнуло меня по руке, по подбородку, по губе, по брови. Я сразу решил, что тяжело ранен, ибо рукой пошевелить не мог, а по лицу побежали три струйки крови. Несколько минут не мог встать. В голове шумело, и впечатление от всего произошедшего не вылетало из головы. Наконец, я решил пойти сделать перевязку. Когда я вышел, все воскликнули: “Жив?!”, и потом: “Ранен!” Я посмотрел на воронку и изумился – снаряд упал как раз на краю окопа у моих ног. Стенку развалило, но ног не зацепил ни один осколочек, а в лицо угодили. Не контузило меня именно благодаря тому, что снаряд упал перелетом, и вся его сила была направлена в сторону от меня. Лицо мое находилось от разрыва на расстоянии моего роста, плюс стенка окопа. Оглянулся я на ящички с минами, что лежали впереди окопа (если считать с нашей стороны, с тыла нашего) – они все были истерзаны осколками. Я чудом – опять чудом – уцелел. А когда я осмотрелся в зеркало, то к радости великой убедился, что только поцарапан небольшим осколочком. Он пролетел, очевидно, один, зацепив лицо в трех местах и, оставшись, кажется, в последнем – в брови. Но он не тревожит меня. А руку только больно ударил плашмя осколок побольше, ибо даже отверстия раны не было, хотя кровь все-таки пошла. Так я отделался и на этот раз».

<sup>17</sup> См. также записи от 16.06.1942, 22.06.1942, 04.03.1945 и др.

По меньшей мере дважды вражеские снаряды «достаются» другим: однажды снаряд попадает в его окоп, из которого Гельфанда выгнал в недобрый для себя час сержант-связист, в другой раз Гельфанд в связи с усилившимся обстрелом галантно уступает более глубокий окоп девушке-санструктору и переходит в соседний:

«Окоп был помельче немного того, в котором была Мария, и находился в одном метре справа от нее. Только перешел в окоп – новый заурчал снаряд, зашипел неистово и с остервенением ударил в землю. Я упал навзничь в окопе и, почувствовав страшный удар вдруг в уши, в голову. На минуту я не мог прийти в себя от всего произошедшего, а когда опомнился, понял, что все это сделал снаряд. Пилотки у меня на голове не оказалось, с носа брызнула кровь, и до одури заболело в висках. Сбросив с себя землю, засыпавшую меня, я встал и стал звать Марию. Но она не отзывалась. Было уже темно, и я решил, что ее засыпало в окопе. Когда на мой зов пришли санитары, они обнаружили одно месиво на месте Марии и ее окопа. Снаряд, пролетев на поверхности земли метров шесть и сделав в земле длинную канаву, упал и разорвался в окопе Маруси. Понятно, что от нее осталось одно воспоминание...

Пилотки я так и не нашел. Лишь наутро я обнаружил ее метрах в трех от спасительного окопа, в котором я находился. Марию наутро раскопали, расковыряли. Нашли одну ногу, почки и больше ничего... Марию зарыли и оставили в земле безо всякого следа и памяти. Я приказал своим бойцам сделать “Т”-образную табличку и, написав на ней маленький некролог в память Марии, установил его на ее могилке. Так закончила свой жизненный путь Мария Федорова, 1919 года рождения, астраханка, медаленосец и кандидат в ВКП(б), старшина медицинской службы» (запись сделана в середине ноября 1943 г.).

Согласно данным Министерства обороны, 21-летняя Мария Архиповна Федорова, старшина медицинской службы, погибла 26 октября 1943 г. Владимир Гельфанд был последним человеком, разговаривавшим с Марией, и запись в его дневнике является, очевидно, единственным свидетельством очевидца ее гибели. Заметим, что дневниковые записи Гельфанда, как ни относиться к его интерпретации тех или иных событий, отличаются точностью, подробностью и откровенностью. Еще раз повторим: в этом отношении это ценнейший источник по истории повседневной жизни на войне.

Точнее, жизни и смерти.

\* \* \*

Владимир Гельфанд вернулся в родной Днепропетровск в начале октября 1946 г. Здесь уже находились его родители: мать вернулась в Днепропетровск в 1944 г. и поступила на прежнее место работы – завод им. Ленина в качестве секретаря отдела организации

труда. Отец работал комендантом профтехшколы. Родители так и не сошлись вновь, но были вынуждены – не слишком редкая ситуация для послевоенных лет, да и для советской жизни в целом – жить в одной квартире. Отец Владимира Гельфанда умер в 1974 г., мать – в 1982 г. Владимир Гельфанд поступил на подготовительное отделение Транспортного института в Днепропетровске, по окончании которого получил аттестат зрелости. В 1947 г. был принят на филологический факультет Днепропетровского государственного университета. В 1949 г. Владимир женился на школьной подруге Берте Койфман, той самой Бебе, с упоминания о которой начинается его дневник. Молодожены переехали в Молотов (Пермь), где жили родители Берты. Берта училась в медицинском институте; Владимир перевелся на 2-й курс историко-филологического факультета Молотовского государственного университета, который и окончил в 1952 г. Согласно диплому выпускник университета мог работать научным сотрудником, преподавателем вуза или средней школы.

Семейная жизнь Гельфанда в первом браке сложилась неудачно. В 1955 г. он оставил Берту и их 5-летнего сына Александра и вернулся в Днепропетровск. Развод был оформлен три года спустя, а в 1959 г. Владимир женился на 26-летней Белле Шульман, по образованию преподавателе русского языка и литературы. У них родилось двое сыновей – Геннадий (1959 г. р.) и Виталий (1963 г. р.). Всю свою профессиональную жизнь Владимир Гельфанд преподавал: в Молотове историю, русский язык и литературу в железнодорожном училище, в Днепропетровске обществоведение, историю и политэкономии в профессионально-техническом училище. Его жена преподавала сначала русский язык и литературу в школе, затем работала воспитателем в детском саду.

Это были не слишком престижные и высокооплачиваемые специальности. Жили в целом нелегко: вчетвером в комнате площадью 10 квадратных метров. Только в конце 1960-х гг. Гельфандам удалось получить отдельную квартиру в новостройке, а в начале 1970-х гг. перебраться в 3-комнатную, где с ними жила также мать Владимира.

Владимир Гельфанд был столь же неугомнен, как и раньше: организовал в училище небольшой музей истории Великой Отечественной войны, исторический кружок. Публиковался в местных партийных, комсомольских газетах и отраслевой газете для строителей на русском и украинском языках: это были заметки о жизни училища, воспоминания о войне. В 1976 г. было опубликовано 20, в 1978 – 30 его статей и заметок. Разумеется, тексты о войне не могли выходить за рамки дозволенного. Образчиком самоцензуры является небольшой мемуарный текст, опубликованный в сборнике воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, составленном на основе

писем, пришедших в главную газету компартии Украины – «Правда Украины». По-видимому, это был единственный случай, когда Гельфанду удалось пробиться на страницы республиканской печати. Не ясно, по каким причинам он предпочел рассказать не о том, в чем сам участвовал или что видел, а о слышанном с чужих слов – историю о немецком женском батальоне, захваченном в плен красноармейцами<sup>18</sup>. История, бесспорно, была вымышлена солдатом, поведавшим ее Гельфанду, ибо никаких женских батальонов в составе вермахта не было. Да и вообще женщины в немецких боевых частях не служили. Любопытно, однако, как работал механизм внутреннего и внешнего ограничения: в дневнике, со слов одного из солдат, якобы участвовавшего в захвате батальона, рассказывается об изнасиловании пленных немок. По справедливому замечанию Эльке Шерстяной, этот рассказ скорее отражает сексуальные фантазии красноармейцев, нежели реальность. Как бы то ни было, в отправленном в газету тексте неприглядные детали исчезли, а после дополнительной работы редакторов этот эпизод превратился в еще одно доказательство гуманизма бойцов Красной армии.

Владимир Гельфанд умер 25 ноября 1983 г. в возрасте 60 лет. Он не дожил совсем немного до того времени, когда «цензурный занавес» над советским прошлым сначала приподнялся, а потом и вовсе был сорван. И, наверное, в самых смелых мечтах он, мечтавший с детства о славе литератора, не мог представить, что его военный дневник (точнее, его немецкая часть) будет переведен на иностранные языки, станет бестселлером в Германии, будет цитироваться в десятках работ по истории Второй мировой войны.

В этом, бесспорно, прежде всего заслуга младшего сына Владимира Гельфанда – Виталия, который с 1995 г., так же как его мать и старший брат, живет в Германии, причем с 1996 г. – в Берлине. Виталий Гельфанд посвятил значительную часть жизни систематизации, публикации и популяризации литературного наследия своего отца. Разрозненные листки были им выстроены в хронологическом порядке (что было совсем не легко, ибо далеко не всегда ясно, к какой именно дате / дневниковой записи относится тот или иной листок), «расшифрованы», переведены в электронный формат. Это же сделано с письмами отца военного времени, различного рода справками, рапортами и другими документами, относящимися к периоду службы В. Н. Гельфанда в Красной армии.

По словам Виталия Гельфанда, он «не открыл закон Бойля – Мариотта и до сих пор не изобрел вечный двигатель. Но сделал много:

<sup>18</sup> Гельфанд В. Той весной // Нам дороги эти позабыть нельзя: Воспоминания фронтовиков Великой Отечественной. Киев: Политиздат Украины, 1980. С. 365–366.

дневники папы. Их никто не сотрет, никто не забудет и не обойдет. Они уже вышли по-немецки. Теперь выходят полностью на русском: 70 лет спустя после окончания Второй мировой войны и 28 лет спустя после начала работы с ними – с 1987 г. Я так много и так долго бил в одну эту точку...

Дневников, подобных этому, в мире, написанных день в день, событие в событие, – пересчитать по пальцам. История прошедшей войны – другая, не такая, как в фильмах о войне, выпущенных после войны и снимаемых и сегодня; не такая, как в мемуарах маршала Жукова и книгах маршала Брежнева, и не такая, как в воспоминаниях многих других ее участников. Не такая, какой ее привыкли знать: отредактированной, выглаженной и прополосканной за семь десятков лет.

В том, что этот дневник сегодня вы можете читать, заслуга моего отца, писавшего его всю войну, день за днем; отчасти моя, нашедшего его после смерти отца и расшифровавшего... Спасибо за помощь в работе с дневниками моей жене Ольге Гельфанд, куратору немецкого издания Dr. Elke Scherstjanoi<sup>19</sup>.

Дневник В. Н. Гельфанда за 1945–1946 гг. вышел в 2005 г. в свет в переводе на немецкий язык и стал подлинной сенсацией. Пожалуй, впервые немецкие читатели получили возможность увидеть разгром Третьего рейха, оккупацию Германии, взаимоотношения советских военнослужащих и немцев (в особенности – немок, возможно, наиболее болезненную и обсуждаемую в Германии в конце XX – начале XXI в. тему) – глазами советского офицера. Конечно, уже были написаны и изданы воспоминания Льва Копелева<sup>20</sup>. Однако они охватывали относительно короткий период времени, были написаны – как и «положено» воспоминаниям – постфактум, то есть тем же, но несколько другим человеком, были до некоторой степени литературным произведением. Дневник же Гельфанда охватывал почти два года, был очень подробен и откровенен. Текст был подготовлен к печати и снабжен комментариями немецким историком Эльке Шерстяной. Книга вышла под названием «Немецкий дневник 1945–1946», выдержала два издания, в переплете и в обложке<sup>21</sup>. «Немецкий дневник» был издан также в переводе на шведский язык<sup>22</sup>.

Наше сотрудничество с Виталием Владимировичем началось довольно неожиданным образом. Он позвонил из Берлина на радио

<sup>19</sup> Письмо В. В. Гельфанда автору от 23 июня 2014 г.

<sup>20</sup> Копелев Л. Хранить вечно. Ann Arbor, 1975 (книга неоднократно переиздавалась).

<sup>21</sup> Gelfand Vladimir. Deutschland-Tagebuch 1945–1946: Aufzeichnungen eines Rotarmisten Gebundene Ausgabe. [Berlin]: Aufbau-Verlag, 2005; Aufbau Taschenbuch, 2008.

<sup>22</sup> Gelfand Vladimir. Tysk dagbok 1945–46: en sovjetisk officers anteckningar. [Stockholm]: Erztat, 2006. В 2012 г. вышла электронная версия шведского издания.

«Эхо Москвы» после одной из передач с моим участием, в которой шла речь о солдатских дневниках, в том числе и о дневнике его отца. В ходе телефонных переговоров и личного общения возникла идея полной научной публикации военного дневника В. Н. Гельфанда. Колоссальная работа по подготовке дневника к печати была проделана Татьяной Вороной: распечатки, подготовленные В. В. Гельфандом, были сверены с оригиналами, исправлены, разобраны некоторые не читавшиеся ранее места, в отдельных случаях установлены или уточнены даты. Текст собственно дневника был отделен от сопутствующих материалов. Наиболее важные из них даются полностью или в извлечениях в примечаниях. Кроме того, в примечаниях даются полностью или в извлечениях письма В. Н. Гельфанда и его корреспондентов, позволяющие прояснить или уточнить некоторые дневниковые записи.

Публикация сопровождается подробными комментариями. Комментарии к дневникам за 1941–1943 гг. подготовлены Татьяной Вороной, за 1944–1946 гг. – Татьяной Вороной и Ириной Махаловой.

Дневник печатается полностью, без каких-либо изъятий и сокращений.

---

## 1941 год

---